

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ЗЕРКАЛА

Зинаида Гиппиус

Зеркала

«Public Domain»

1896

Гиппиус З. Н.

Зеркала / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1896

«– Послушайте, Райвич, вы не думайте: эта история не окончена. Я именно и прислан сказать вам, что она не может быть кончена. Мы еще вас станем судить. Ян беспокойно поднял глаза на товарища. Глаза были близорукие, черные и выпуклые.– Как судить? – проговорил он робко и глуховато...»

Содержание

I	5
II	7
III	9
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Зинаида Гиппиус

Зеркала

I

– Послушайте, Райвич, вы не думайте: эта история не окончена. Я именно и прислан сказать вам, что она не может быть кончена. Мы еще вас станем судить.

Ян беспокойно поднял глаза на товарища. Глаза были близорукие, черные и выпуклые.

– Как судить? – проговорил он робко и глуховато.

– Увидите. Как всегда судят. Может быть, после суда, мы вас исключим из товарищества, и вам тогда придется перейти в другое училище. Помните же, завтра ровно в восемь.

С этими словами Игнатий Самохин встал, показывая, что разговор кончен, обдернул парусинную блузу и потянулся за фуражкой с прикрепленным спереди значком московского реального училища. Самохин был мальчик лет семнадцати, худой, со впалой грудью, длинноватым бледным лицом, всегда тревожным и старообразным, хотя – не некрасивым. Небольшие серые глаза смотрели остро и прямо из-под густых, светлых бровей. Улыбался он часто, но как-то одним углом рта, без всякого веселья, а со злостью.

Когда он встал, Ян тоже встал и схватил его за рукав.

– Самохин... Послушайте... Зачем это? Ради Бога не надо. Ведь вы знаете всю историю, и все знают. Я тогда задумался так, что ничего не слышал. Это со мной бывает, я не совсем здоров. Шум был, крики – я ничего не слышал. А тут сразу инспектор подходит, схватил меня за плечо и спрашивает: «Лебедев и Хлопов тоже ходили? Да?» Я говорю: «Да, да». Я тогда на все бы ответил «да». Я даже и не знал, что Лебедев и Хлопов ходили и попались, я и теперь не знаю, куда они ходили. Какой же я доносчик? Ради Бога, простите меня, Самохин, и пусть все простят. И нельзя ли, чтоб меня не судили? Я все равно выхожу из училища, мы с сестрой и бабушкой переезжаем в Петербург...

Самохин выдернул свой рукав, за который схватился Ян, и проговорил с презрением:

– Какой вы трус, Райвич! Это мерзость, дрожать так от всего. Знайте, если вы завтра не явитесь, мы сочтем это мерзостью. А теперь прощайте.

– Нет, Самохин... Погодите... Я не трус. Или пусть трус, только я не того боюсь, чего вы подумали. Ну, выключать из товарищества, ну что ж? Ведь я все равно уезжаю. А только это... несправедливо, этот суд... Стыдно. И вам, и мне, и всем... Нельзя ли просто, так как-нибудь?

Он умоляюще сложил руки и смотрел на товарища. Но тот пожал плечами, усмехнулся своей дурной улыбкой вкось, нахлобучил фуражку и, вероятно, вышел бы, если б в эту минуту на пороге маленькой гостиной, где происходил разговор, не показалась дама в капоте. Дама была сухошавая, с быстрыми карими глазами, еще красивыми. Около зрачков они светлели, точно обнимая зрачки желтыми кольцами.

– Вот сестра, – проговорил Ян в замешательстве. – Вы, Самохин, никогда у меня еще не были. Посидите. Я так давно ждал, что вы придете. Вера, это мой товарищ.

Вера весело, почти задорно, улыбнулась, протянула руку Самохину и тотчас же принялась болтать с ним, как со старым знакомым.

– А вот и бабушка, – вскрикнула Вера, оборачиваясь назад. – Идите, бабушка. Это не чужой. Это знакомый Яна, друг. Слышите?

Самохин обернулся. В комнату вошло что-то им никогда не виданное.

Маленькое существо, сторбленное так, что лицо было совершенно обращено к полу, и спина круглилась выпукло и страшно, все было закутано в какие-то платки. Но голова с редкими седыми волосами, заплетенными в косички, была не покрыта. От непомерного горба

перёд ситцевой блузы волочился, а зад, напротив, поднялся и выставлял на вид малиновые шерстяные чулки. Бабушка везла перед собою деревянную тачку, в каких дети возят песок. Самохин понял, что тачка ей помогает сохранять равновесие, но в первую минуту все-таки был изумлен. Он подошел ближе и, почтительно поклонившись, подал старухе руку.

Вера продолжала повторять: «Бабушка, это Игнатий Николаевич, он с вами здоровается...» И так как старуха не отвечала и не двигалась, она оторвала ее правую руку от тачки и вложила в ладонь Игнатия.

Он взглянул ближе в опущенное лицо и понял, что имеет дело с бесчувственным существом. Лицо это, желтое, как пергамент, выражало спокойствие и сосредоточенность смерти. Запавшие, остановившиеся глаза, чуть прорезанные, как щелки, не смотрели и не видели. Холодная рука была неподвижна в руке Игнатия.

Вера, казалось, ничего не замечала. Она говорила с бабушкой, как с живой, и теребила ее. И вдруг пергаментное лицо собралось, исказилось, отверстие рта раскрылось, какой-то звук, какое-то непонятное слово вылетело оттуда. Спокойствие смерти было нарушено. Невольный холодок пробежал по спине Игнатия.

– У бабушки был легкий удар и с тех пор она не может говорить ясно, – как ни в чем не бывало пояснила Вера. – Впрочем, я ее понимаю. Вы хотите к себе? Да? – наклонилась она к старушке. – Пойдемте, я вас сведу. И видит плохо, – прибавила она с нежностью, привычно и ловко повернула старушку, положила ее руки на тачку, и скоро свистящий звук старухиных туфель – она не поднимала ног от полу, шагая – замолк в темном коридорчике.

Ян стоял по-прежнему у стола, опустил глаза. Игнатий помолчал немного.

– Она вам бабушка? – спросил он.

– Да, – торопливо проговорил Ян. – Она очень стара.

– Она... понимает?

– Нет, не понимает. Она давно уже не понимает. Только при сестре не надо об этом упоминать. Вера ее очень любит и не хочет верить, что она... совсем забылась.

– И не говорит?

– Говорит иногда. Слово какое-нибудь скажет – и повторяет громко одна.

– Просит чего-нибудь?

– Нет, так, неидущее слово. Вчера бродила с тачкой; долго бродила, я занимался, сестры не было. И вдруг говорит, громко так, почти выкрикнула: «Слышите? слышите?» Несколько раз повторила, очень явственно. Я было думал, не чудится ли ей, но потом понял, что она и сама не знает, что у нее выговорилось.

– Это она давно? Сразу!

– Нет, понемногу. Оттого Вера и не замечает. Жалко.

– Ну, вот жалко! А сестрица ваша... она не замужем?

– Нет, она барышня.

– Однако, что же я? До свиданья, господин Райвич. Помните, завтра в восемь, на полчаса раньше занятий!

Уходя, он прибавил:

– С эдакой-то старухой тащатся в Петербург!

– Сестре будет веселее в Петербурге, она здесь скучает, – страдальчески проговорил Ян. – Послушайте, Самохин...

– Да вы богаты, что ли?

– Нет, мы не богаты... Самохин, я говорю, нельзя ли без суда?.. К чему он, подумайте?

– Прощайте, – крикнул Игнатий и, хлопнув дверью, вышел.

Ян остался один, сел за свой старенький письменный стол и тупо, остановившимися глазами, смотрел на двор, залитый желтым весенним солнцем, и на стену противоположного дома, который не позволял видеть ни клочка неба.

II

Ян Райвич был поляк только по отцу, который и сам происходил из смешанной семьи. Отца давно, за какую-то провинность, сослали на поселение, там он и умер. Мать русская, имевшая от первого брака дочь Веру, уже взрослую девушку, умерла еще раньше. Ян жил в Москве у сестры с младенчества, и кроме Москвы, бабушки и сестры, никого и ничего не помнил. Он вообще стал помнить себя поздно. Говорить он начал только по четвертому году, рос тупо и вяло. Порою он просиживал часами неподвижно, глядя в одну точку немигающими глазами, с остановившейся мыслью. Сестра отдала его в реальное училище, боясь, что он не осилит латыни. Яну, действительно, очень трудно давалось ученье, хотя он и старался. Семнадцати лет он был невысок ростом, полон, медлителен в движениях. Смугловатое бледное лицо было кругло, с мягкими чертами. И руки у него были небольшие, смуглые и полные. Темные глаза навывкате он никогда не щурил, несмотря на близорукость.

Ян не любил и не думал о своем детстве, да и помнил его плохо. Но когда случилось ему обратиться мыслями назад, всегда возникала перед ним сцена, единственно уцелевшая из затуманенного прошлого. Он очень мал. Его поставили на пол, держать под мышки и заставляют идти. Ноги совсем слабые. Ян боится, он знает, что непременно упадет, если его не будут держать. Кто-то, может быть сестра, может быть няня, присела на пол в двух шагах и совсем близко протягивает руки. «Иди, иди, Ян, говорит она, не бойся, вот мои руки, видишь, здесь, иди ко мне!» Руки ее почти касаются Яна, и он идет, хочет схватиться за них, и вдруг руки отодвигаются, все дальше, и Ян падает лицом на пол, тяжело и трудно. Он был долго болен после этого падения. Няня, вероятно, думала, что ребенок просто боится решиться и хотела, обманув его, доказать ему самому, что он умеет ходить. Но Ян пошел, только веря этим протянутым рукам, упал, когда они отодвинулись, и надолго потом в душе его осталось недоумение, чувство обиды и боли, тем сильнейшей, что он ее сам не сознавал.

Сестре Ян не сказал ни о суде над ним, ни обо всей училищной истории, не то чтобы из боязни огорчить или рассердить ее, а так, по привычке быть одному со своими делами. Сестра была старше на двадцать лет, а между тем ему казалось порою, что он ее перерос. Она играла и болтала с ним, как с равным, когда он был совсем маленьким, и не заметила, что Ян становился взрослым, а она сама увядала и старела. Теперь привязанность ее ушла на бабушку, которую она считала разумным существом и кровно обижалась, если говорили, что бабушка мало понимает.

– Она отлично понимает и слышит. Только говорит плохо и ослепла. А вот мы переедем в Петербург, ей там сделают операцию... Она опять чулки будет вязать. Переедем, Ян, в Петербург, а? И вообще Петербург... Там общество... А, Ян? как ты думаешь?

Ян соглашался. Ему было все равно.

Перед «судом» Ян спал плохо. Голова у него болела, в глазах плыли зеленые пятна, когда утром он вскочил с постели и принялся одеваться. Сначала он не хотел идти «на суд», но потом решил. Он знал, что они его оскорбят, потому что они всегда его оскорбляют, и в душе уже есть наболевшее место, куда одна на другую падают обиды. Но все равно, пусть! Он им скажет, что он думает, может быть, они поймут.

Он пришел раньше всех. В большой пустой зал, где собираются ученики перед молитвой, только двое или трое малышей повторяли уроки. Ян пошел в угол, за колонны, притаился и замер.

– А Райвича нет? – разбудил его резковатый голос Самохина.

– Я здесь, – сказал Ян, выходя из угла. Самохин обрадовался.

– Пришли? Отлично. Пойдемте за мной, в наш класс Живее!

Почти весь класс собрался. Впереди стояли «пострадавшие», Хлопов и Лебедев. Говорить должен был первый ученик Цибульский, детина рослый, с равнодушным рыжим лицом.

– Вы нафискалили, Райвич, – произнес он лениво, глядя с кафедры на невысокую фигуру Яна. – Вы донесли инспектору, что Хлопов и Лебедев выходили в город без спросу.

– Да ведь это же неправда, – задыхающимся голосом перебил Ян. – Вы знаете, как было... И все знают.

И он опять повторил то, что рассказывал Самохину, как он «задумался», как не слышал, что спросил его внезапно подошедший инспектор и что он ему ответил.

– Я был нездоров...

– А если нездоров, так в училище нечего лезть, – прокричал резкий голос. – Доносчик! Ян встрепенулся.

– Послушайте, за что вы меня оскорбляете? Ведь вы же знаете, что я не доносчик! Вы думаете, что меня исключат? Я не боюсь, я все равно сам уезжаю в Петербург.

Раздались негодующие крики. Слова Райвича не понравились. Резкий голос покрыл остальные:

– Цибульский, да скажите же ему, чтобы он молчал! Это возмутительно! Исключить! Шпион!

– Исключить, исключить! – подтверждали другие.

– Нет, позвольте, господа...

Поднялся шум. Ян вошел на кафедру. Лицо его было бледно.

– Исключайте, мне все равно, – сказал он тихо, но так, что все слышали. – Я знаю, это вы, Самохин, назвали меня шпионом. Сами в это не верите, а назвали. За что вы меня так ненавидете?

– Ну, довольно, – произнес Цибульский, – все глупости. Райвич, вы не исключаетесь, но факт остается фактом, вы донесли, и товарищи из-за вас пострадали.

Звонок прервал его. Все, не обращая внимания ни на Райвича, ни на суд, кинулись в залу. Самохин догнал Яна в коридоре.

– Послушайте! Ян обернулся.

– Вы спрашивали, за что я вас ненавижу? – произнес он. Лицо у него было бледное и злое. – Кто вам сказал, что я вас ненавижу? Я не вас ненавижу, а их, всех вместе, и то, что сейчас было. Разве так можно делать? Судить так судить. Исключить надо было. Не могу терпеть, когда и туда и сюда, а в сущности ничего. Все равно, нет настоящей справедливости, ведь нет? Ну так пусть будет настоящая несправедливость, вы не виноваты – а над вами пусть надругаются, насмеются, с позором исключат... Вот! А так – нельзя! Да что я с вами говорю? – воскликнул он. – Ничего не понимаете!

Но Ян улыбнулся, причем на полных щеках его показались ямочки, и протянул было руку Самохину.

– Не сердитесь, – проговорил он. – Не надо. Это ничего, что они сегодня так... А я больше не буду.

Самохин оттолкнул руку Яна, болезненно сжал губы и пошел прочь.

Перед вечером Ян опять сидел у окна, желтое солнце падало на пол косыми лучами, бабушка бродила с тачкой и повторяла непонятно, глухо и однообразно:

– Черво... черво... червочинка... червоточинка...

III

Петербургский август часто бывает похож на октябрь. Дожди льются, сырые и холодные, сплошное, низкое небо давит тяжело, мокрые дома кажутся выше и угрюмее сквозь скользкий, редкий туман. Осень чувствуется во всем.

В час, после полудня, было темновато, как сумерками, Мокрые, хотя еще зеленые и густые, качались липы в одном из палисадников Большого проспекта на Васильевском острове. Деревянный домик, серый, с мезонином, совсем пропадал за купой деревьев. В палисадник вышел молодой человек лет двадцати трех, в черной мягкой шляпе, с поднятым воротником довольно поношенного летнего пальто. Тотчас же вслед за ним, стуча каблучками по деревянным ступенькам, выбежала девушка, полненькая, невысокая блондинка. Волосы, серовато-пепельные, немного растрепались, на плечах висел коричневый плед. Девушка видимо спешила.

– Иван Иванович! – крикнула она негромко и оглянулась по сторонам. – Иван Иванович, вы туда идете?

– Да, Оля... Сегодня воскресенье...

– Дождь льет...

– Нет, надо, Оля. А я хотел вас попросить...

– Знаю, знаю! – весело перебила девушка. – Наверху присмотреть за бабушкой? Там Мавра, но я знаю, вам спокойнее, если я тоже смотрю. Сейчас пойду, не бойтесь.

Ян мало переменялся за восемь лет, даже почти не вырос. Он был по-прежнему неуклюж и довольно полон. Выражение его лица и выпуклых близоруких глаз было до крайности просто, почти тупо. Но именно в простоте, в «немудрености» всего лица и была его привлекательность.

– Прощайте, Оля, – сказал Ян ласково.

Он улыбнулся. Оля тоже улыбнулась, порозовела и побежала наверх, а Ян вышел за ворота и побрел по направлению к Николаевскому мосту.

Год тому назад сестра Вера сошла с ума. До сих пор Ян не мог понять, как это, собственно, с нею случилось. У нее и раньше бывали обмороки, истерика. Но после одного сильного обморока Ян позвал доктора. Вера закричала на доктора, заплакала, сказала, что нигде нет правды и что скоро она уедет в Париж, потому что в Петербурге ей скучно. Ян слышал все это и раньше, он боялся только обмороков. Но доктор строго сказал Яну, что Вера – психически больная и ее дома держать нельзя. Ян подумал, что, может быть, Веру вылечат в больнице от нервного расстройства, и ее отвезли в больницу. Обмороки прекратились, но ее домой не отпускали, как Ян ни просил докторов. А между тем Ян с ужасом стал замечать, что Вера действительно говорит с ним порою так, как никогда раньше, дома, и чем больше времени проходило, тем хуже ей становилось. Ян опять бросился к доктору, умоляя отпустить сестру домой, но с ним и разговаривать не стали. Делать было нечего. Ян стал ждать. Он каждое воскресенье ходил в больницу. Он ходил бы и по четвергам, но в будни он был занят. Когда сестра заболела, ему пришлось бросить, не кончив, Технологический институт и поступить на частное место в какое-то правление. Необходимо было хоть немного денег. Сестра прожила почти весь маленький капитал. А на руках Яна оказалась и бабушка. Восемь лет пролетели над нею незаметно: времени она не знала и не чувствовала. Казалось, смерть ее забыла. Так же недвижно и спокойно было ее лицо, так же шевелились, не поднимаясь от полу, тяжелые ноги. Только вся она еще ссохлась, горб обострился, и руки крепче нажимали на тачку, которую она по-прежнему возила перед собою для равновесия.

Ян с бабушкой и прислугой Маврой жили в крошечной квартире в мезонине. Дом принадлежал Олиному отцу, больному старику, не покидавшему своей комнаты.

Ян шагал, несмотря на дождь, который забирался к нему за воротник. Он и не заметил, как повернул на Пряжку. Пилили какой-то тес или дрова. Щепки и поленья плавали в мутной, шоколадной воде. По довольно крутым берегам тут росла трава, настоящая августовская трава: мокрая, не пожелтевшая, а изношенная, истертая. Непонятное строение из красного кирпича, длинное, однообразное, с прозрачными аркадами, высилось на противоположной правой стороне. Узкая набережная тянулась. Вдруг за углом она оборвалась, перешла в пустую площадь, и показался дом, мутно-желтый, обнесенный высокими стенами, и все-таки весь видный, точно стоящий на возвышении. Темнели малые пятна решетчатых окон. Бывают дома живые, бывают веселые и грустные. Этот дом был не мрачен и не весел – он был похож на труп. Большой, оконеченный труп с незакрытыми, но невидящими глазами, с серыми тенями и грязными налетами на холодном теле. Ян свернул во двор, где на убогой клумбе вял мокрый пион – и вошел внутрь. Дверь на блоке тяжело стукнула за ним.

Вместе с Яном в швейцарскую больницу пробралось несколько робких фигур. Приказчик в синей сибирке, старый чиновник с седым, плохо выбритым подбородком, женщина в измятой шляпке и при ней испуганная девочка, обдергивающая драповое пальто, из которого давно выросла, две совсем простые бабы в желтых платках и древняя старуха с серьезным и злым лицом. Все они были со свертками, кулками, даже бутылками. Сквозь зеленоватое стекло бутылок белело молоко.

– В третье женское? – спросил швейцар равнодушно, пока Ян вручал ему палку.

– Да. Я знаю... – проговорил Ян и, не поднимаясь наверх по лестницам, которые шли направо и налево, двинулся прямо через швейцарскую.

Вторая дверь грузно стукнула за ним. Он очутился в широком и низком сводчатом коридоре, длинном, пустом и почти совершенно темном. Знакомый, хватающий за горло запах обнял его. Тяжелый и густой, он лежал неподвижно под этими толстыми, сырыми стенами. Ян никогда не знал, чем, собственно, пахнет, но везде узнал бы этот запах, от которого у него и теперь, как всегда, захолонуло на сердце. Запах этот окружал, обнимал человека. Старая капуста вечных щей, затхлость подмокшего, просыревшего древнего кирпича и известки, немытые тряпки, копоть жестяной лампы, грязь, кровь и пот человеческие, казалось, были в этом запахе, и только все это слилось в одно, как пронзительные звуки сливаются в один страшный аккорд.

Ян повернул направо, прошел довольно далеко по коридору и вышел к лестнице. Лестница вся была на виду, широкая, каменная, в темных пятнах, с огромными пролетами, затянутыми на каждом повороте железными сетями, точно гигантской паутиной. И свет здесь был паучий, серый, туманный. Он шел с самого верха, где в потолок были вставлены потускневшие стекла.

Ян стал подниматься по ступеням, около бледно-желтой стены. Запах сделался злее. Он, вероятно, просачивался сквозь стену.

Кое-где медленно, как сонные мухи, спускались и подымались редкие посетители. Они были молчаливы и тихи – и безмолвие царило в сером полусвете. Только порою где-то заглушенно, задушенно, точно под землей, точно обман слуха, носились звуки, похожие не то на стон, не то на смех, не то и на смех и на стон вместе.

В самом верху, у плотно запертой двери, стояла молодая, румяная девушка в платке. Двухлетний ребенок плакал у нее на руках, она утешала его торопливо и тихо.

– Что вы? – спросил Ян, прижимая пуговку электрического звонка. – Ждете?

– Да, мать вот его пришли проведать, да не пустили. Тетка, сестра-то, пошла, а ребенка не пустили. Я с ним и осталась. Я тоже родня.

– Отчего не пустили?

– Кто ж знает? Нельзя да и все тут. А уж как она наказывала! За платье даже хватала – просила. Принесите мне, говорит, Ваську. Все равно, говорит, помру. А тут и не пустили. Скажите вы тетке – в желтом платке она – коль увидите, чтоб скорее. Ваську-то не унять.

Дверь отворилась с ключа и выглянуло осунувшееся лицо горничной в чепце.

– Можно видеть Веру Зыбину? – проговорил Ян поспешно.

Лицо в дверях скрылось, ключ щелкнул. Но через минуту дверь снова приотворилась.

– Пожалуйте.

Ян проскользнул в узкое отверстие и очутился в сыром коридоре, более узком и низком, освещенном рядом открытых боковых дверей. Ян бывал тут давно, целый год, но привыкнуть не мог, да вряд ли и можно было привыкнуть. Теперь, вместе с запахом, который здесь слегка изменился – острее пахло людской теснотой, – его стал тревожить шум сотни голосов, разнообразный, громкий, то жидкий, то густой. Были звуки, не напоминающие человеческую речь. Кто-то тонко бранился и спорил. Кто-то стонал равнодушно и однообразно на букву «э». В глубине коридора слышался продолжительный и тоже однообразный, какой-то застывший хохот. Станным казалось одно: во всем смешении голосов – ни одного звука не было веселого. Во всех восклицаниях, взвизгиваниях, даже смехе было что-то особое, очень далекое от всякой радости. Серые фигуры, бесконечные, маленькие и большие, юркие и медленные, наполняли коридор, теснясь и толкая друг друга. Ян всегда боялся задеть, обидеть кого-нибудь и осторожно пробрался в боковую комнату, где вдоль стен и около деревянного стола посередине стояли длинные лавки. Окна были и тут затянуты решетками. Серые выштукатуренные стены смотрели грязно и холодно. У двери, где висела косая лампа, чернело громадное пятно копоти, темные лапы которого тянулись почти к потолку.

В комнате было довольно много посетителей. Некоторые разговаривали шепотом с приведенными больными, другие сокрушенно и тупо молчали. Ян тотчас же заметил женщину в желтом платке. Ее больная была еще молода, может быть, совсем молода. Редкие волосы, слегка растрепанные, впавшие щеки и длинный нос старили ее. Глаза с опухшими веками, как от долгих слез, смотрели прямо. Она качалась медленно и беспрерывно и все повторяла, голосом таким утомленным, что в нем почти не было звука.

– Ваську-то... Ваську-то... Что Ваську-то не принесли... Принесли бы Ваську-то... Ваську...

– Да говорят тебе, – степенно начинала женщина в желтом платке, – принесли мы Ваську, а его не пустили. Нельзя, говорят, таких маленьких. Вот погоди, поправишься, выйдешь...

Больная не слушала, верно, и не слышала. Она качалась все так же и тупо, надорванно и непрерывно повторяла:

– Ваську-то... Ваську-то... Ведь я помру... Ваську что не принесли?..

Сиделка с деревянным, длинным лицом появилась в дверях и ткнула пальцем на Яна.

Тотчас же вслед за ней показалась небольшая фигурка, закутанная в коричневый платок, и мелкими, торопливыми шагами приблизилась к Яну. Это была его сестра Вера.

– Ты за мной? – произнесла она быстро, целуя его.

Этот вопрос она повторяла ему каждый раз, каждый раз с новым доверием, прощая ему все прежние разы и опять, снова думая, что он непременно пришел за ней, потому что здесь ей жить нельзя.

И каждый раз Ян, краснея мучительно и тяжело, лепетал ей в ответ:

– Видишь ли, Вера... Еще доктора не соглашаются... Но я опять попробую... И через несколько дней...

Тут Вера презрительно прерывала его, пожимая плечами. Она знала, что он лжет. И он вдвойне страдал от своей лжи и от ее презрения.

– А ты послушай, что тут делается, – начала Вера быстрым, тихим голосом, каким-то совсем другим, здешним, и уселась с ногами на лавку, съежилась комочком под своим платком.

Она похудела, сделалась вся вдвое меньше, почернела, под глазами, беспокойными, потерянными, были коричневые круги. Еще недавно, год тому назад, она невинно занималась собою, шила себе какие-то пестрые тряпки, завивала волосы. Теперь едва подобранные волосы

сбоку слегка поседели, передних зубов не хватало, пальцы рук опухли на суставах и дрожали, точно вывихнутые. Она говорила быстро, с накипевшим раздражением, с возмущением.

– Ты можешь себе представить, Ян, – говорила она, близко наклонившись к брату, – я теперь убедилась, что этого ничего нет. Ничего нет, а они притворяются, что есть, чтобы мучить. Главное, то важно, что их тоже нет, а они этого не подозревают. Разве я виновата, что мое тело чувствует? Они пользуются – и мучат. Посмотри, тесно, посмотри, идут, идут, ходят... Посмотри, как тесно, они бить должны друг друга, чтобы пройти... Я говорю – пустите, я знаю, у меня дом есть, я свободный человек... А они смеются и говорят: ничего там нет, куда вы еще хотите?

Ян слушал горячий говор сестры и молчал. Что ему было говорить?

Чиновница в плоской шляпке, с бутылкой молока, долго ждала рядом с Яном свою больную и пристально всматривалась в тени, мелькавшие беспрерывно в коридоре. По-прежнему оттуда доносился гул, смех и взвизгиванья, полные печали. Вдруг лицо чиновницы, не старое, но поблекшее и забитое, исказилось. Она привстала. Две сиделки принесли скорченное существо с подогнутыми ногами, в сером холщовом капоте, похожем на одежду арестантов. Никто не угадал бы – ребенок это или старуха. Ян вглядывался долго и решил, что это двенадцатилетняя девочка. Сиделки посадили ее на лавку, все с подогнутыми ногами, безучастную и молчаливую. Лицо худое, как у черепа, обтянутое черной кожей, выражало немое, окаменевшее страдание. Волосы были острижены под гребенку. Маленькая головка качалась на очень длинной, тонкой, как стебель, шее, которая выходила свободно из широкого ворота холщовой блузы, слишком широкого, точно срезанного, как срезают рубаху у преступника перед обезглавливанием.

– Ньюша моя, Ньюшечка, здравствуй! – произнесла чиновница, обнимая девочку. – Что, как ты?

Девочка ничего не отвечала, даже не посмотрела на мать. Сиделки ушли, ей, видно, было тяжело на узкой и твердой лавке.

– Ньюшенька, молочка попей. Дай я тебя попою, – хлопотала чиновница, с трудом откупорила бутылку, налила в чашку и стала поить девочку. Она выпила два глотка, потом замычала. На черном личике ее сильнее выступило страдание.

– Не хочешь, милая? Попей, попей...

– Давно она у вас так-то? – спросила чиновницу баба в желтом платке.

– Четвертый год. Да все хуже. Теперь уж восемнадцать лет исполнилось. А видать ли? Эх мы, злополучные!

– Да с чего она?

– А Бог весть. Жили мы хорошо. Она заскучала. К батюшке ходила. Про-Бога все вздумывала. Потом в монастырь захотела. Здоровье слабое. И мысли, что ли, ее одолели. Дальше – больше... Тут и мы разорились. Разве, если б деньги, отдала я ее в такое место? Точно я не знаю. Тут совести нет. Дурное, злое место. Зато они все тут святые. Моя-то уж и понимать перестала. Собрал бы ее Господь поскорее!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.